



ЕЛЕНА
БОННЭР

ДОЧКИ- МАТЕРИ

мемуары

Биография эпохи

Елена Боннэр

Дочки-матери. Мемуары

«Издательство АСТ»

1991

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

Боннэр Е.

Дочки-матери. Мемуары / Е. Боннэр — «Издательство АСТ»,
1991 — (Биография эпохи)

ISBN 978-5-17-105593-6

Эта книга – мемуары супруги академика А.Сахарова, публициста, общественного деятеля, одной из ключевых фигур диссидентского движения СССР Елены Георгиевны Боннэр. Свой рассказ она посвящает событиям в жизни целой страны и отдельно – своей семье советского околвоенного периода. Эта книга – не просто автобиография Елены Боннэр, но и изложение интереснейших свидетельств и фактов друзей и соратников удивительной героини. В книге – уникальные фотографии нескольких поколений семьи Елены Георгиевны.

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-105593-6

© Боннэр Е., 1991
© Издательство АСТ, 1991

Содержание

Предисловие	6
I	9
II	13
Письмо	15
III	24
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Елена Георгиевна Боннэр

Дочки-матери. Мемуары

© Елена Боннэр, текст

© Татьяна Янкелевич, Алексей Семенов, текст

© ООО «Издательство АСТ»

Предисловие

Вспоминая Елену Георгиевну Боннэр

Каждого въезжающего в Иерусалим на так называемых Римских Подъемах встречает надпись на русском, иврите, арабском и английском – «Сады Сахарова», выбитая на мраморных плитах, укрепленных на склоне библейской Масличной горы.

На церемонию открытия Садов в память Андрея Дмитриевича Сахарова в начале июня 1990 г. по приглашению его инициаторов, Тэдди Коллека, мэра Иерусалима, и Натана (Анатолия) Щаранского прилетела из Москвы моя мать Елена Боннэр. Накануне открытия мы с ней вдвоем ужинали в ресторанчике неподалеку от нашей гостиницы, и она сказала: «Знаешь, я придумала название книжке – «Дочки-матери». «Очень хорошо», – ответила я.

Речь шла о еще не опубликованной книге, написанной мамой после смерти бабушки. «Дочки-матери» вышли впервые по-русски в начале 1991 года в издательстве имени Чехова в Нью-Йорке, за этим последовало много изданий на разных языках. В России эта книга была издана один раз, четверть века назад, в 1994 году.

Наша бабушка Руфь Григорьевна Боннэр умерла 25 декабря 1987 года, через полгода после того, как я привезла ее домой в Москву из Америки. 18 августа 1987 года ей, ровеснице века, исполнилось 87 лет.

Прошло чуть меньше двух лет, и не стало Андрея Дмитриевича. В «Эпilogue к «Дочки-матери» мама напишет: «Я закончила эту рукопись летом 1989 года. В начале сентября Андрей прочел ее и тепло, с оттенком зависти, сказал: «Ты пишешь лучше меня». Я ответила: "Преувеличиваешь!" Но мне было радостно.»

На вопросы о том, «что было дальше», и на многие просьбы написать продолжение «Дочки-матери», мама отвечала: «Без Андрея ничего уже писать не буду». Но она писала – без него, но всегда для него.

В детстве я помню маму если не пишущей, то как-то связанной в моем сознании с «писанием», с литературой – составление книжки стихов и дневников Севы Багрицкого, редактора ее гранок, поездки в Москву и встречи с Севиной мамой Лидией Густавовной Багрицкой – все это воспринималось именно в этом ключе. Позже, после возвращения родителей из рабочей поездки в Ирак в составе советской делегации в оспопрививочной кампании Всемирной организации здравоохранения, помню ее записки «В Ираке», опубликованные в ленинградском журнале «Нева» за 1961 год, которые мне очень нравились, нравятся и сейчас...

Мой брат Алеша в детстве много лет тяжело болел, мама ходила за ним по больницам. После длительной госпитализации Алеши в 60-е годы в Москве в Рукавской больнице, знаменитой старинной детской больнице в Сокольниках, она написала интересный очерк «Пропустите маму» о бесчеловечном казенном отношении к детям-пациентам кардиологического блока, где лежал мой шестилетний брат. В нем сильно сократили острые моменты, но все же опубликовали в газете «Медицинский работник». Очерк наделал много шума, была масса писем в редакцию.

В 60-е годы мама сотрудничала с литературной консультацией Союза писателей СССР. Ей давали рукописи начинающих писателей. Было видно, что за этими текстами стоит огромный человеческий материал, часто трагический. Нужно было уметь так написать авторам, чтобы не ранить их, подбодрить. Кому-то подсказать другой путь – если не писательский, то репортерский.

В «диссидентское», правозащитное время мама была автором или соавтором и редактором многих документов, текстов обращений, а в 1980-е годы – единственным автором докумен-

тов Московской Хельсинкской группы, состоявшей на тот момент из трех членов: ее самой, Софьи Васильевны Каллистратовой и Наума Натановича Меймана.

После смерти Андрея Дмитриевича это были уже не книги, а публицистика – острая, страстная, на злобу дня и на разные значимые даты; послесловия и предисловия: к переизданию «Воспоминаний» Сахарова, к «Дневникам», к книгам «Постскриптум: Книга о горьковской ссылке», «Дочки-матери».

Были тексты – нет! – куски живой жизни, заполняющие лакуны в «Дневниках» Андрея Дмитриевича, роману-документу, как она его назвала, – насыщенные напряжением, тревогой, ощущением неразрывной близости друг друга...

И были «Вольные заметки к родословной Сахарова»: эта книга, как никакая другая, была продолжением ночного разговора, описанного в «Эпilogue к «Дочки-матери»: «А ночью, как будто не было перерыва в разговоре, продолжил, что теперь он всех узнал: Батаню и Нюру, папу и маму. Он говорил как всегда – Руфь Григорьевну. О том, как ясно представляет ее – молодую, непреклонную, но вообще-то все такую же, какой знал. А потом сказал: «Ты от бабушки родилась, хоть и с армянским характером». Я ответила, что он тоже от бабушки...»

«Воспоминания» Андрея Дмитриевича начинаются со слов «К сожалению, я многого очень важного не знаю о своих родителях и других родственниках. Расскажу, что помню; при этом возможны некоторые неточности». Уже без него – но для него! – в 1991 году начались архивный поиск его родни и корней, которых он не знал, и работа над тем, что в 1995 году стало «Вольными заметками к родословной Сахарова». Труд любви, подтвердивший мамину настойчивую догадку – о пересечении линии семьи Сахарова с Пушкиным.

И все же все это было уже в другой, «странной жизни без Андрея», определении, данном ею самой в 1990 году, через два с небольшим месяца после его ухода в послесловии к «Постскриптуму». «Постскриптум: Книга о горьковской ссылке» был написан в Америке за три месяца в 1986 году, между операцией на открытом сердце с установкой шести (!) шунтов 13 января и возвращением в ссылку в Горький 4 июня. В ссылку, из которой они уже не надеялись вернуться, где уже купили места на кладбище... Написан он был «для него. <...> Я хотела, чтобы книга понравилась Андрею. Хотела заработать деньги. Но больше всего я хотела, чтобы она была в помощь всем, кто боролся за то, чтобы Сахаров был свободен.» Так писала и говорила мама; я добавлю: и еще для того, чтобы осталось свидетельство.

«Дочки-матери» тоже стали свидетельством. Свидетельством того времени, через которое прошла ее семья и она сама, свидетельством ее верности памяти дорогих ушедших, и свидетельством личности и характера, начало которым лежит в детстве, пришедшемся на 1920–30-е годы прошлого века. Свидетельством защиты справедливости и противостояния – от «коллегии адвокатов» в школе, от отказа выдать имя девочки, давшей «запрещенную» книгу, до от отказа выдать родителей и их друзей на допросах в 1937–38 годах в ленинградском «Большом доме»; впереди еще не одно такое противостояние...

Друг семьи, первый редактор книги и ее рецензент Елена Гессен написала в журнале «Континент» в 1992 году: «Марсель Пруст сравнивал книгу с кладбищем. на многих плитах которого уже нельзя прочесть полустершиеся имена. Елена Боннэр своей горькой, грустной, трогательной и вместе с тем удивительно светлой книгой помогает прочесть – или по-новому осознать – многие и многие полустершиеся имена, спасая их от забвения».

Читатель этой небольшой книжки, которую мама упорно называла «женской» и «для женщин», поможет – независимо от своего пола – сберечь, спасти от забвения нашу общую правдивую историю и передать ее детям и внукам. Для них, для своих детей и внуков – и в надежде, что книга бытия будет продолжаться – и писала мама «Дочки-матери».

В завершение этого предисловия я хочу поделиться с читателем одним из писем, которые, возможно, он не сможет прочесть в «Постскриптум: Книге о горьковской ссылке», ставшем библиографической редкостью издания, куда они были включены в 1986 году.

Эти письма должны были оказаться у нас в Америке летом 1984 года, до голодовки Андрея Дмитриевича и до суда над мамой. Но этого не произошло. Они были отобраны у мамы на обыске в 1984 году, при аресте в Горьком. Мы получили их весной 1986 года, и мама, заканчивая у нас свою книгу о горьковской ссылке, включила их в нее с небольшим «предисловием».

Мне кажется, что в письме к нам – ее маме и детям – с удивительной четкостью отразились мамин характер и мироощущение, ее способность быть счастливой – и чуткость к трагичности и страданию этого мира, ее верность и мужество.

Читая эти строки, я с трудом сдерживаю слезы и повторяю себе мамины слова: «Жизнь была типична, трагична и прекрасна».

Татьяна Боннэр-Янкелевич

10 января 2018 г., Бостон, США

Умерла мама, и образовалась такая пустота, что казалось, разорвется сердце. Мне все время хотелось с ней говорить, что-то объяснить, спросить, вспомнить. Вдруг оказалось, что не хватило прошедшей жизни. Это толкнуло меня к белому, как снег в день маминых похорон, листу бумаги. День смерти, кладбище, поминки.

Я начала писать письмо детям. Что знаю о маминной семье, что слышала, что помню. Вначале вспоминать было трудно. Я как будто пробиралась через лесной завал, чтобы выйти на дорогу. Не могла припомнить чье-то имя, название места. Они всплывали в памяти ночью, уже почти во сне. Просыпаясь, я сделала открытие – память надо будить. Тогда писать стало легче. Как будто мне дали в руки клубок ниток. Я взяла за конец и потянула. Нитка все тянется и тянется.

Сядясь за машинку, я каждый раз не знала, куда она меня приведет. Так пришло второе открытие: воспоминания – это когда не знаешь, что впереди. И они нерасторжимо связаны с каждым моим прожитым днем, моим «сегодня» и моим, если оно будет, «завтра».

А теперь передо мной лежит рукопись. Толстая. Она уже живет сама по себе, как всякая, в конце которой автор поставил точку. И я боюсь за читателя, что ему будет трудно идти вслед за мной.

Я не собиралась писать эту книгу. Я вообще не знала, что это будет книга.

Если меня спросят: «Это было?» – я отвечу: «Нет».

«Это правда?» – «Конечно».

I

*... не может быть, ведь ты была всегда:
В тени блаженных лип, в блокаде и в больнице,
В тюремной камере и там, где злые птицы,
И травы пышные, и страшная вода.
О, как менялось все, но ты была всегда...*

Анна Ахматова

Вспоминаю и перебираю в памяти мамины последние дни, боюсь что-то забыть. Кажется, что я не все рассказала, упустила что-то очень важное. Но вот что?

В среду 23 декабря мама утром встала, как всегда, около десяти. Андрюша уже уехал. Я не помню, что у него было в этот день утром. Мама выпила кофе и съела кусочек булочки с медом. Потом пошла в ванную, и я услышала, что она как-то очень тяжело закашлялась. Я вошла к ней; она сидела на табуретке и сказала, что что-то нехорошо с сердцем. Я принесла ей нитроглицерин. Она вдохнула и через пару минут уже со мной вышла снова в кухню. Сказала, что болей нет, но сердце вроде как останавливается. Я ее уложила, но ей было неудобно лежать. Она снова села. Я положила ей за спину подушки. Пульс был слабый и неровный. Губы и ногти у нее посинели и руки стали холодные. Я налила все грелки и положила к ногам, поставив их на скамеечку, и к рукам. Дала ей валокордин, а через несколько минут – кордиамин, и сказала, что, пожалуй, вызову неотложку. Она как-то виновато полуулыбнулась и спросила: «Думаешь?»

Неотложка приехала минут через двадцать. К этому времени мама выпила несколько глотков очень крепкого кофе, и я положила ее тут же на кухне. Губы и ногти у нее уже не были такими синюшными, хотя и не приобрели нормальный цвет. Когда приехал врач, ей уже явно было лучше, но давление было низким. Ей сделали коргликон внутривенно и ввели еще что-то, чтобы поднять давление, кажется, мезатон. Врач нашел хрипы в легких, но, узнав, что я уже четыре дня даю ей эритромицин, никаких других назначений не сделал.

С той минуты, как маме стало плохо, мне в душу запал страх, который как бы сконцентрировался в одной мысли: «Не вытащить мне ее в этот раз, не вытащить!» Когда врач уже уходил, пришла Белка. Я еще накануне договаривалась с ней, что она поедет оформлять мамины дела в поликлинике. И я ей сказала про свой страх. После ухода врача мама вроде как отлежалась, и я перевела ее в комнату, она немного подремала. Пришла Галя с Пеле. Вернулась Белка. Мы обедали, и мама тоже что-то поела, правда, в кухню не выходила, хотя и порывалась, но я не пустила. Стали смотреть телевизор – фильм, который все ожидали: «Больше света» – сжатая история страны с попыткой сказать то, о чем раньше принято было умалчивать – и коллективизация, и голод на Украине, и 37-й год, и перечень военачальников с цифрами, сколько их было репрессировано. Мама тоже с нами смотрела – телевизор придвинули к ней. И снова, как всегда, когда она возвращалась мыслью (или что-то внешнее ее возвращало) в то время, она начала нервничать и что-то говорила Галке довольно возбужденно, но скоро успокоилась. Галка ушла. А Белку я послала за кислородом – хотела, чтобы был на всякий случай. Белка скоро его принесла и ушла домой. Пришел Андрюша. Был обычный вечер, мама чувствовала себя почти как всегда, но я все же решила спать лечь здесь, у нее.

Спала она хорошо, совсем спокойно, на боку. В четверг утром позавтракала в кухне, но остальное время больше полеживала. Была у нее ее участковый врач. Нашла, что хрипов в легких немного, но все же, кроме эритромицина, назначила еще какой-то антибиотик и сердечные. Днем мама слушала музыку – Моцарта сороковую – и снова, уже в который раз, стихи Тарковского. Идти в кухню днем она особенно не рвалась, но когда слушала музыку, то сидела

в кресле. К вечеру пришла Маша, как раз когда мама ела в постели. А потом забежала Лена. Я стала на кухне накрывать на стол и пришла к маме спросить, дать ли ей чаю с лимоном или с молоком, а у нее в это время был какой-то разговор с Машей, и она на мой вопрос ответила, что и не думает пить чай в кровати, а будет на кухне, и сама, хоть Маша порывалась ей помочь, натянула халатик и пришла к нам.

Это было на следующий день после выборов в Академию, и Андрей рассказывал о всех перипетиях общего собрания, а мы бурно проявляли свои эмоции по этому поводу. Мама тоже. И курила. Я обратила внимание на то, что она дважды закуривала, но после двух-трех затяжек сигарету бросала. В одиннадцать часов я сказала Маше и Лене, чтоб они уходили. Нам с Андреем надо было что-то печатать. Мама сама приготовилась ко сну. Я поставила ей горчичник, и мы на кухне устроились печатать. Когда я пришла снимать горчичник, то мама лежала раскрывшись и уже без него. Я начала ворчать, а она почти весело отругивалась. Я потушила у нее свет и вернулась на кухню. Там Андрей начал искать свои очки и уверять меня, что Маша их по ошибке унесла, а я – доказывать, что он сам вечно все теряет. Минут через пятнадцать я заглянула к маме. Она не спала, но на вопрос, как себя чувствует, ответила: «Ты иди спать к себе, я вполне хорошо себя чувствую. А что Андрей там опять ищет?» – «Уверяет, что Маша утащила его очки». – «Сам куда-нибудь засунул». Я снова ушла на кухню и заглянула к маме минут через десять. Она все еще не спала. Я спросила ее, не дать ли ей валокордина или эуноктина. Она ответила, что уже засыпает. Я нагнулась поправить ей одеяло, которое свесилось с кровати, и поцеловала ее. Она на это сказала: «Ну, что ты мне все подтыкаешь. Что я, грудная, что ли». И в голосе ее угадывалась улыбка.

Вот и прошел этот день. И тот страх, что был накануне, вновь не шевельнулся во мне. И ничто мне не подсказало, что это были последние мамины слова, обращенные ко мне, что идет последняя мамина ночь. Когда я еще раз спустя полчаса зашла к ней, она спала спокойно на правом боку, и дыхание было тихое, ровное. И я тоже мгновенно и спокойно заснула. Ночью я дважды вставала к маме. Она спала.

Утром Андрюша поднялся к нам около десяти часов. Мама не проснулась, и я пошла на кухню пить кофе. Не проснулась она и когда я снова к ней вошла, минут через двадцать. Меня и это не встревожило, ведь накануне уснула она очень поздно. Я сварила ей геркулес и пришла снова, раздёрнула шторы и, повернувшись к ней, стала говорить: «Мама, просыпайся, уже одиннадцать часов». Она приоткрыла глаза (или мне это только показалось?) и сразу же вновь опустила веки. Я взяла ее за руку. Рука была теплая, но совсем как неживая, никакого сопротивления моему движению. Другая рука – такая же. И ноги – тоже. А пульс был ровный, не частил и хорошего наполнения. Я взяла в руки ее голову и тут в шее почувствовала какое-то сопротивление, какую-то жизнь. Я побежала на кухню к Андрею и сказала, что у мамы, видимо, обширный двусторонний инсульт. Он стал вызывать врача неотложки. Врач-женщина приехала довольно скоро и подтвердила то, что я сказала. Она предложила взять маму в больницу. – «А зачем? Вы сможете ей помочь?» – «Нет, но я должна вам предложить.» – «Нет, пусть она будет дома». Они сделали ей внутривенно – я совсем не помню, что. Я вообще про этот день, кроме мамы, мало что помню. Потом была другой врач – из маминой поликлиники, она настойчиво предлагала госпитализацию и все говорила: «Ну, зачем вам дома такая больная, зачем вам дома все это, ведь все равно ничего сделать-то нельзя». Говорить с ней было неприятно, трудно. Я боялась сорваться, и говорил с ней Андрей. Он сказал, что мама как жила с нами, так и будет до конца.

А она лежала спокойно, чуть повернув голову в сторону окна, и в какой-то момент на лице у нее появилась улыбка. Я позвала Андрея. Он стоял рядом и тоже смотрел на нее. Что маме виделось, что чувствовала она? Кого встречала она этой светлой, легкой улыбкой? Когда я смотрела на ее лицо, мне казалось, что она наконец-то позабыла все мрачное и непереносимо трудное, что было ее судьбой. Может, возвратилась назад в детство? И не было такой трагиче-

ской прошедшей жизни, а была и есть какая-то другая, звучащая, как сороковая симфония, которую она только вчера слушала. Потом улыбка постепенно сошла с маминого лица, и на все оставшиеся часы оно стало спокойным, тихим, умиротворенным. Таким, что вот сделала все и теперь – отдыхаю.

К вечеру приехал еще врач – из Академии. Сказал, что теперь все дело в сердце, и такое состояние может продлиться и несколько дней, и несколько часов. Пришла Зоря. Мы поили маму водой с медом. Я ложечкой вливала в рот, а Зоря держала подбородочек. Потом я взяла и прилегла рядом с мамой головой к голове, на ее подушки (их у нее была целая гора). И сказала, что так и буду спать следующую ночь, и гладила ее руку. Мне показалось, при моем прикосновении мамина рука дрогнула. Слышала ли мама меня, чувствовала ли рядом? Часов в десять вечера у нее вдруг выступил пот на лбу – мелкие-мелкие, блестящие капельки. Зоря вытерла их. А лицо все было спокойным и дыхание ровным – никаких признаков хоть малейшей боли или страданий. И внезапно мама открыла глаза. Они смотрели прямо в мои. И она видела меня. И закрыла глаза. А потом два или три резких, отрывочных дыхательных движения. И все!

Все слова, которые я когда-либо читала о легкой смерти, можно повторить. Все будет правильно. И все будет не то. Наверно, всякая смерть, как и всякая жизнь, неповторима и единственна. Я много раз была рядом с умирающими. (Говорят «видела смерть», но это неверные слова, потому что смерть кого бы то ни было, пусть чужого, постороннего, не видишь, а переживаешь, и в эти мгновенья он уже не чужой и не посторонний.) Но никогда это не было так вне страданий, так спокойно и так покойно.

Мама на словах иронично относилась ко мне – врачу, но одновременно абсолютно верила, что я всегда могу ей помочь, всегда избавлю от страданий. И я боялась, что может прийти время, когда она будет мучиться, а я ничего не смогу сделать – только быть рядом. Провидение избавило ее от страданий. И меня от муки бессилия помочь. Мама – первый близкий человек, умерший на моих глазах и на моих руках. Где и как умер папа? Севка – в деревне Мясной Бор? Батаня – в блокадном Ленинграде? Игорь – в далеком Бомбее?

Мама перестала быть, но еще была тут, в своей комнате, на своей кровати, и руки ее были теплые, и волосы пахли ею – мамой. Приехали те люди, которые должны были увезти ее. Они сказали, что им надо простыню, и попросили нас выйти из комнаты. Когда мы вернулись, на полу возле кровати стояли носилки, и на них – маленький белый сверточек. Я вдруг поняла, какой маленькой стала мама. Этот сверточек! И только тоненькая простынка! У меня машинально вырвалось: «Можно дать одеяло?» Но один из них как-то странно на меня посмотрел и сказал: «Не надо». Андрей хотел поехать с ними. Но тоже: «Не надо». Мы почему-то боялись этих людей. Растерялись. А они быстро подхватили носилки – ноша была легкой – и стали спускаться по лестнице.

Потом уехала Зоря. А мы стали звонить на другую сторону Земли, чтобы найти Таню и Алешу. Еще днем из Нью-Йорка звонил Эд. Я сказала ему, что произошло с мамой ночью. Но мне казалось, что конец не будет таким быстрым, и я просила его не срывать детей с отдыха. Ведь все разъехались на праздники. Сейчас мы снова прозвонились Эду. А потом позвонил Алеша.

Ну вот и Рождество! Уже потом мне кто-то сказал, что в Рождество умирают святые. Не знаю. Может быть.

Отошла ее душа. Осталось тело, и мы должны его похоронить. Прилетели дети. Лица у обоих черные. Глаза ввалились. Наутро привезли гроб с телом. У мамы лицо все такое же спокойное, а вот волосы уже какие-то чужие и лежат как не ее. Цветов много, и запах земли и зелени. Все друзья и родные все. Наверное, это маме бы понравилось. А на улице почему-то была задержка из-за машин. Гробик стоял открытый. И назойливая эта мысль, что холодно – ей.

На кладбище ели стоят под снегом, и снежок такой тихий, мягкий падает. Там как будто и холодно не было. Андрей тихо сказал: «Ты меня любила, и я тебя любил». Я поразились – это он впервые сказал маме «ты». Таня начала читать «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые...» Алеша все что-то поправлял у мамы. Потом... Потом... И холмик из зелени и цветов. И снег, снежок.

Мамочка! Дома все были такие хорошие, спокойные.

И я все вспоминала, как ты говорила, что не любишь еврейские похороны, потому что с кладбища все расходятся, и каждый уже не с тем, кого проводили. Ты была бы довольна, потому что все были вместе и в твоём доме. Когда хоронили Игоря, то на кладбище ты мне сказала: «Если на кладбище бывает хорошо, то это здесь!» И я все думаю, что если б ты могла увидеть свои похороны, то, наверное, так же сказала бы: «Если похороны бывают хорошими, то это мои».

II

*То, что человек обычно не замечает
Дни зловещего предзнаменования.
Как понемногу стареет его мать.*

Сэй-Сёнагон (966–1017)

Прошло сорок дней, в которые по обычаю нельзя трогать вещи умершей. Я вошла в мамину комнату. Как будто впервые увидела ее. Какая-то мебель. Кровать. Столик. Его привезла Галя, когда мы убрали комнату к приезду мамы. Комод, доставшийся от Юры Федорова, осужденного на 15 лет. Над ним зеркало, подаренное Сарой Юльевой. Таможня его не пропустила, когда они уезжали в Америку. Два небольших платяных шкафа. Мы с Ваней их купили с моего гонорара за Севину книгу. Швейная машинка Зингер. Чтобы ее купить, когда мама вернулась из лагеря, я продала свой единственный военный трофей – фотоаппарат-«лейку». И в углу возле окна секретер – бывший Ремин, Таниного мужа. На его полках книги, традиционно считавшиеся мамиными, а не всех нас. И в нижних ящиках бумаги, фотографии, письма. Можно, если хочется, назвать – архив. Ох, не великое наследство осталось от мамы. Грустно, немного смешно. И хочется плакать.

Я открыла мамин шкаф. Почти неуловимый, бесконечно родной запах. Живой. Эту блузку она совсем недавно надевала. Другая – ее любимая, такая давнишняя, кажется, ровесница Тани. А это вязаное платье Белка ей подшивала. Я тогда почти обиделась, что не меня мама попросила это сделать. Я раздала одежду – кофточки, халатики, белье. И села на полу у секретера. Но, едва достав фотографии и письма, поняла, что это я еще не могу – читать и разбирать мамины бумаги. Не могу. Не пришло время. Я вдруг поняла, что не была готова к тому, что мама так скоро уйдет. Мне казалось, что она еще долго будет с нами. Со мной и Андреем.

Потом я как-то внезапно, остро заболела. Утром встала здоровая. А в два часа дня – как умираю. Сердце то останавливается, то колотится неудержимо. Не могу стоять. Даже сидеть. Потом озноб. Температура за сорок. Нестерпимая боль в ноге. Она от лодыжки и до верха бедра красная, вздувшаяся. Ни пошевелить, ни дотронуться. Рожа. Через пару дней стало легче, но тянулось все это недели две.

Я болела в маминой комнате, и это как-то приближало меня к ней, мне было уютно быть почти на ее месте. И впервые за это время мама мне приснилась. Она сидела за столом в красной вязаной кофточке поверх какой-то очень нарядной белой блузки, совсем такая, как в последнее время до болезни, а я сидела по другую сторону стола, и мы через стол держались за руки, вернее, я держала в руках ее левую руку и целовала ее – никогда в жизни этого не было, мы просто не могли себе такое представить и позволить – ведь всю жизнь внешне отношения были такими, что это сделать было нельзя. А в последнее время, последние месяцы мне часто хотелось как-то физически приласкать маму, но все стояло это «нельзя». Я боялась напугать, боялась, что какие-то мои действия насторожат и заставят думать, что дела нехороши и состояние ее меня тревожит. Вот и вела себя, как тумба железобетонная. А во сне все было легко – и руку ее целовать, и плакать – все было можно. И самое странное, что утром после этого сна было так светло, будто я действительно побывала с ней.

С этого сна начались воспоминания. Мама и папа, бабушка, их родные. Я поняла, что мало знаю о маминой семье, еще меньше – о семье ее отца. Я мало, а мои дети почти совсем ничего. Захотелось рассказать им хоть то, что помню. Получилось странное письмо – родо-

словное дерево. Кривое. Много о семье мамы, почти ничего о семье ее отца, а со стороны моего отца – сплошные белые пятна¹.

¹ Примечание 1990 года. Скучное письмо. Теперь, когда я знаю, что эта рукопись стала книгой, я думаю, что читать его не обязательно. Но я не могу его отбросить – для меня эта книга началась с него.

Письмо

Мне очень хочется, родные мои, написать вам, но на душе такая беспросветность и бессловесность, что это очень трудно. Может, это оттого, что я еще не пришла в себя после болезни. Но больше оттого, что мы с Андрюшей никак не привыкнем к пустоте в доме, к тому, что здесь, в той комнате, где я сижу сейчас, нет мамы. Утром вхожу – и сразу взгляд туда, где стояла мамина кровать. А потом сама себе приказываю – смотреть туда не надо. Не смотри. Займись делом. Лучше всего таким, чтобы в нем была мама. Может, это письмо и есть такое дело?

Я хорошо помню свою прабабушку с материнской стороны. Ее девичья фамилия – Самсонович. Звали ее Елена Лазаревна, а мы – дети – называли ее баба Еля. Была она невысокой, полной, но не тучной. Она сохранилась в памяти всегда очень аккуратно одетой в темное платье, с теплой шалью на плечах. Гладко зачесанные волосы на затылке стянуты в маленький узелок. У нее были катаракты, и она почти ничего не видела, и, когда кто-нибудь входил в комнату, она всегда спрашивала: «Кто?»

Ее на несколько дней привозили из Иркутска, где она жила у одной из дочерей, а потом везли в Ленинград к другой дочери. Пока она была у нас, мне казалось, что вся жизнь в доме сосредоточена вокруг нее, вернее, не вокруг, а для нее. То говорились: «Бабушку надо купать», то: «К бабушке сегодня придут гости», то: «На обед сегодня будет судак, а бабушке надо купить сига». Когда бабу Елю купали, Егорка (мой младший брат) просил пустить его в ванную комнату, чтобы посмотреть хвостик. «Какой хвостик?» – удивилась мама. Егорка объяснил: «Я произошел от тебя, ты от Батани (наша бабушка), она от бабы Ели, а баба Еля уж обязательно от обезьяны». Мы с Егоркой обычно не очень считались с присутствием и делами взрослых и постоянно жили своей, очень шумной жизнью, заполняя наши комнаты (у каждого из нас тогда была своя) и всю по тем временам очень просторную квартиру бесчисленными друзьями. При бабушке мы стихали и приятелей в дом не водили. Может, мы стеснялись того, что она такая старая, а может, присутствие человека, казавшегося нам таким старым, как-то сковывало нас. Сколько же было бабушке тогда лет? Я думаю, что не больше восьмидесяти.

Потом ее провожали на вокзал. Мы тоже всегда ехали провожать. Я помню, как ездили на извозчиках, а в последующие годы – на машине, и это в то время было событием. Последний бабушкин приезд, а потом проводы были уже весной 1937 года. И вскоре она умерла.

Что же я знаю о бабушке? Она была два раза замужем. Первый муж – Матвей Рубинштейн. У меня есть какое-то смутное воспоминание – чей-то рассказ о нем, – что он был кантором в синагоге и очень способным музыкантом. Внешне (по портрету) я его помню очень хорошо. На большом, в половину моего письменного стола, портрете был изображен молодой, очень элегантно одетый, с красивой прической человек. Лицо овальное, глаза светлые, нос небольшой, правильной формы. Никаких пейсов или вообще чего-то еврейского нет. Лицо спокойное, но не безвольное, с чувством внутреннего достоинства, и какое-то вненациональное, что ли. На всех фотографиях моей бабушки (маминой мамы) я вижу сходство с ним не только в чертах лица, но и в характере.

От первого брака у бабушки Ели было четверо детей: старшая Татьяна (моя бабушка), Софья, Моисей и Александр. Я называю их имена так, как они звучали уже в послереволюционное время, но знаю, что Александра, когда записывали в синагоге, называли Исаем. Ну, Моисей – вполне еврейское имя, а вот были ли в синагоге записаны другие имена – Софьи и Татьяны, – я не знаю.

Софью я никогда не видела, но знаю о ней много со слов бабушки. По всем рассказам и по сохранившимся портретам она была очень красивой женщиной. Ее рано выдали замуж за человека состоятельного, который был старше ее. А она любила другого – бедного студента. И

конечно, брак не был счастливым. У нее было четверо детей – два сына и две дочери. Младшая дочь страдала туберкулезом позвоночника, и для ее лечения Софья с обеими дочерьми поехала на юг Франции то ли в 1909, то ли в 1910 году. Там ее застала Первая мировая война. Вернуться в Россию она не захотела. Кого-то полюбила во Франции. В рассказах Батани о ней не было осуждения. Напротив, я ощущала в них даже оттенок виноватости. Может, моя бабушка уговаривала сестру выйти замуж за нелюбимого? Не знаю. Но Софья в моем восприятии всегда была окружена неким ореолом несчастной первой любви. Ее сыновья жили с отцом вместе с моей бабушкой и ее детьми. В гражданскую войну, опасаясь мобилизации в армию Семенова, их отправили переждать смутное время в Харбин, но они решили использовать его, чтобы повидать мать и мир, и, нанявшись на какое-то судно, уехали во Францию.

Больше их в СССР не пустили, хотя они добивались этого вплоть до 1926 года. В 1927 году их отец получил разрешение уехать к ним. Он не был счастлив во Франции, отношения с женой не сложились, и я не уверена, что сложились с детьми. Он умер через три или четыре года. Софья пережила его на много лет и скончалась в Ницце в 1957 году. Их дети и внуки – это мои французские родственники.

Они как-то странно разделились. Мамины кузины Руфа и Лиля, которых вывезли из России в раннем детстве, и их дети стали коммунистами старого (чтобы не сказать сталинского) типа. Кузены (оба бездетные) Матвей и Леля (во Франции его звали Леон, а он, видимо, Лейб или Леонтий), любя сестер и племянников, относились к этому иронично. И если первые все трагические известия о реальной жизни в СССР называли буржуазной пропагандой, то вторые, пережившие революцию и гражданскую войну, не сомневались, что это правда. Матвей, Руфа и Леля умерли в конце 60-х – начале 70-х годов. Остальные, после того как я стала женой Андрея (и потому для коммунистов фигурой одиозной), со мной не встречались и с мамой тоже не проявили желания встретиться, хотя она трижды была в Париже².

Брат бабушки Моисей учился в Германии. Мама говорила, что он смог получить образование благодаря тому, что рано женился и его жена была из богатой семьи. Я не знаю, так ли это. Но он закончил в Гейдельберге два факультета. После блестящей защиты диссертации по детской психологии дядя Мося с семьей вернулся в Россию. Чтобы иметь возможность преподавать в Москве, он принял лютеранство. Мне кажется, что в бабушкиной семье это не было воспринято как-либо серьезно. Семья, видимо, не была ортодоксально еврейской. К слову, я не знаю, говорили ли они на идиш, ходили ли мальчики в хедер и знали ли иврит – в семье я никогда идиш не слышала. Русский язык для бабы Ели (Елены Лазаревны) и всех ее детей был родным. Ни у кого из них не было какого-либо акцента. В 1916–1917 годах мама кончала 8-й класс гимназии и жила в Москве у дяди Моси. А в 18-м (или 19-м) году дядя Мося с семьей уехал из голодной Москвы в Иркутск. Там он вместе с несколькими энтузиастами загорелся идеей создания университета. Мне трудно представить, каких трудов тогда это стоило, но в 19-м или 20-м году Иркутский университет был открыт. Первые годы имя дяди Моси упоминалось в этой связи, а потом как-то исчезло. В конце 20-х годов дядя Мося за «идеалистическое мировоззрение» был отстранен от преподавательской работы и сослан в Ташкент. Но те годы были, как теперь говорят, «вегетарианскими», и через несколько лет он вернулся в Москву, где преподавал психологию в педагогическом вузе до конца жизни.

У дяди Моси было четыре сына. Старший, Борис (юрист), был арестован в 37-м году и погиб. Его жена Леля тоже была вскоре арестована и впоследствии находилась в одном лагере с мамой. Совсем маленьких внуков забрал к себе дядя Мося. Средних его сыновей – Шуру (химик, доктор наук или, может, академик) и Володю (музыкант) – я знала мало. Младший,

² Летом 1989 года мы с Андреем были в Осло. К нам в гостиницу пришла молодая женщина с мужем – внучка маминой кузины Руфы. Меня поразило, что в ней я увидела какие-то семейные черты. Зовут ее Надин – Надя. Одна ее сестра живет в Италии. Другая в Париже.

Виктор (писатель Виктор Важдаев), после ареста старшего брата и до ареста его жены часто бывал в Ленинграде, опекая невестку и маленьких племянников. В это время я много с ним общалась и даже дружила, несмотря на разницу возрастов. Но с годами мы как-то разошлись. В конце 50-х – начале 60-х годов общение наше совсем прекратилось, думаю, оттого, что он становился все более ортодоксальным, а я все более – нет. Окончательным рубежом стал, наверное, 1968 год.

Второй брат бабушки, Александр, дядя Саня, был моим любимым дядей-дедушкой. Он был высокий, стройный, с веселыми светлыми глазами и доброй улыбкой, элегантен и, сегодня бы я сказала, артистичный. Тогда он казался мне очень красивым. Но и теперь я думаю, что он был одним из самых красивых мужчин, которых я встречала в жизни. Он учился в консерватории. Был женат первым браком на популярной тогда певице Эльвире Амазар, гастролировал с ней как ее аккомпаниатор. У них была дочь. Почему распался этот брак и она с девочкой уехала за границу, я не знаю.

Вторая жена дяди Сани – тетя Роня – Эльвира Борисовна Пападичева (урожденная Фейгин). Я предполагаю, что она лет на восемь-девять старше моей мамы, так как училась в восьмом классе гимназии, когда мама пришла в приготовительный. Она была детским врачом-невропатологом, училась за границей и в России. В годы Первой мировой войны служила в русской армии зауряд-врачом, там встретила князя Пападичева и стала его женой. Еврейка-княгиня, конечно, нонсенс, но в конце Первой мировой войны бывало и такое. В 1919 году князь умер в Москве от туберкулеза, а тетя Роня вернулась в Читу, где родилась и где все еще практиковал ее отец, который был фельдшером. (Моя бабушка была дружна с ним и говорила, что он знает больше, чем все читинские врачи вместе взятые.) Там она встретила дядю Саню и вскоре стала его женой.

Вторым мужем моей прабабушки Елены Лазаревны был Матвей Боннэр. Кажется, он был купцом, хотя от мамы я этого ни разу не слышала. От этого брака тоже было четверо детей: Берта, Роня, Яков и Люба. Роню я почти не знаю, только видела несколько раз, когда она с дочерьми приезжала в Москву и, кажется, в Ленинград. Якова никогда не видела, но знаю, что он был талантливым музыкантом-самоучкой, первой скрипкой Оперного театра в Улан-Удэ, и умер в годы войны от флегмоны, случайно поранив руку струной.

Бетя и Люба были ближе других по возрасту к маме и дружны с детства или юности. В маминых рассказах о годах революции в Иркутске они фигурируют почти как ее сверстницы. Была мама очень дружна и с мужем тети Бети Григорием Михайловичем Берлинским.

Тетя Люба – Любана – была любимицей всей семьи, как мне кажется, не только потому, что была младшей, а за свою удивительную доброту, покладистость и отзывчивость. Была она большеглазой, со светлым лучистым взглядом, невысокой, даже маленькой, пухленькой, подвижной и легкой. Всегда казалось, что все она делает легко и все ей легко, хотя жизнь у нее была нелегкой. Ее муж много лет страдал тяжелым туберкулезом. Она рано овдовела и осталась с одиннадцатилетним сыном. Сын много болел, и с деньгами всегда было трудно. Зубной врач в детской консультации – не великий богач. На ее руках в блокадном Ленинграде умерла моя бабушка, и она же вывезла из него мою младшую двоюродную сестру. В Ленинграде мы жили совсем рядом, на одной улице, но не это определяло нашу близость, а ее характер. С ней нельзя было поссориться и ее нельзя было разлюбить.

Моя бабушка Татьяна Матвеевна Боннэр (урожденная Рубинштейн, 1879–1942) была старшей дочерью прабабушки Елены Лазаревны от первого брака. Из каких-то недосказанных слов и отрывочных воспоминаний братьев бабушки у меня создалось впечатление, что у нее были трудные отношения с отчимом. Я знаю, что, защищая сестру в конфликте с отчимом, брат бабушки Моисей поссорился с ним и ушел из дома. Он был тогда гимназистом последнего класса и, чтобы закончить гимназию, поступил репетитором в какой-то купеческий дом.

В 17 лет бабушка вышла замуж за двадцатилетнего племянника отчима – Григория Рафайловича Боннэра. Дядя Мося говорил, что «Гриша был человек горячий, смелый и безрассудный» и был «безумно влюблен». «А Таня (моя бабушка) вышла за него, чтобы уйти из дома отчима». В рассказе дяди Моси как-то сквозило неодобрение этого брака, хотя он всегда относился к старшей сестре с глубоким уважением и даже восхищением. Такое же отношение к ней я всегда замечала у всех наших родственников.

Через год, в 1898 году у бабушки родился первый ребенок – сын Матвей. Роды были тяжелые, и после них у бабушки была родильная горячка. Все считали, что она умрет. Новорожденного младенца, которого она не могла кормить, увезли к прабабушке Елене Лазаревне, у которой в это время родилась младшая дочь. И она кормила одновременно дочь и внука. Сохранилась фотография, где моя бабушка с очень короткой стрижкой – почти мальчишечьей. Это она после родильной горячки. В 1900 году родилась дочь Руфь – моя мама. А в 1902 – вторая дочь Анна. Бабушка рассказывала, что она хотела назвать ее Юдифь. Но дядя мужа, который пошел в синагогу записать девочку, по дороге забыл это имя и согласился на то, какое ему предложил раввин.

Когда бабушка выходила замуж, мой дед был компаньоном в деле своих дядьев. Они занимались закупкой крупных партий скота в Маньчжурии и восточной Монголии и перегоняли их для продажи в Россию. Судя по рассказам бабушки, занятие это было рискованное, и не только в том, что всегда была опасность потерять деньги, но и в прямом физическом смысле, так как дед, будучи самым молодым из участников дела, сам сопровождал вместе с перегонщиками гурты скота в трудных и временами опасных климатических условиях Восточной Сибири. В 1902 или 1903 году дед решил выделить в собственное дело, и семья из Черемхова переехала в Читу. Первое время его дела шли успешно. В одну из экспедиций 1905 года он взял очень крупные кредиты и закупил бо2льшую, чем обычно, партию скота. При перегоне гурты попали в буран и основная часть стада погибла. Через несколько дней после возвращения домой дед застрелился. Случайно моя мама видела это. Она играла на открытой галерее, идущей вдоль фасада дома, и как раз в момент самоубийства заглянула в окно комнаты отца. Мама всегда говорила, что это одно из самых страшных воспоминаний в ее жизни.

Бабушка осталась с тремя детьми и без всяких средств. Почти сразу же она пошла работать в торговую фирму братьев Самсонович. Вначале она была кассиром в магазине. Позже самостоятельно изучила бухгалтерию и стала довольно быстро продвигаться по службе. А впоследствии работала у известного золотопромышленника и купца Второва. Пользуясь абсолютным доверием первых своих работодателей и Второва, два последние года перед Первой мировой войной она ездила в Германию, где производила оптовые закупки товаров для двух этих фирм. После революции она работала главным бухгалтером в гостинице «Селект», построенной в начале десятых годов и до национализации принадлежавшей фирме «Бр. Самсонович». Это тогда было единственное в Чите многоэтажное здание. Там было то ли пять, то ли шесть этажей. А в Ленинграде все годы до выхода на пенсию она была старшим товароведом в таможене Балтийского пароходства.

Я всегда называла ее Батаня. Это имя произошло при сокращении «бабушка Таня» или «баба Таня». И с моей легкой руки (или языка) все внуки и дети младших ее сестер тоже стали так ее называть. Она была поразительно красивая женщина. Невысокая, не полная, но чуть полноватая светлая шатенка с серыми прекрасными глазами. Удивительная посадка головы, небольшой рот и прекрасный овал лица. Во все годы ее жизни меня поражала красота в сочетании со спокойной, властной манерой держаться. Все окружающие ее уважали, но у многих я замечала и некоторый оттенок страха при общении с ней. И ее всегда побаивались мои друзья и подруги. Она, кроме самого раннего моего детства, никогда не была внешне ласкова с нами, внуками, скорее сурова, чем мягка. Но вместе с тем в ее отношении никогда не было недоверия или – несправедливости.

Меня удивляло, что она, оставшись вдовой в очень молодом возрасте, не вышла второй раз замуж. Возможно, самоубийство мужа стало психологической преградой для нее. Но я думаю, что она не была по-женски одинока все последующее время. Когда я уже была не ребенком и наша с ней кровная близость была скреплена еще и трагедией семьи, мне часто хотелось вызвать ее на откровенность, чтобы хоть малейшим словесным ее проговором подтвердить мои интуитивные догадки. Но я всегда получала отпор и какой-то урок. Она очень неуважительно говорила о женщинах, делающих события своей личной жизни достоянием многих. И любила повторять: «Не из всего можно устраивать базар». Однажды, не помню в какой связи, я спросила ее, как она отнеслась бы к измене мужа – мне до времен замужества было еще далеко и вопрос имел, так сказать, абстрактно-литературный аспект, Батаня сказала: «Есть два решения: одно – не знать, второе – уйти. Оба трудные, но ничего промежуточного быть не может».

У Батани был свой прочный круг друзей, с которыми она была доверительна и общительна. Но вне этого круга и родственников она была очень сдержанна, даже суха. Она много читала, но упорно не хотела читать современную литературу. Западная для нее кончалась на Ибсене, русская на Чехове и Андрееве, поэзия на Блоке. Я, став еще при ней «ахматовкой», упорно навязывала ей свои вкусы, но не уверена, что преуспела. Она очень любила оперу. И, когда была возобновлена «Жизнь за царя» (Батаня ни разу не называла ее «Иван Сусанин»), восприняла это как личный праздник. Как ни скудно жили мы в предвоенные годы, но раз или два в сезон она позволяла себе пойти в оперу или в филармонию с главной своей подругой Ириной Семеновной Дрекслер. А в кино в последние годы она не ходила, мне кажется, почти принципиально. Только однажды мы с Раинькой все же уговорили ее и были вдвоем на «Большом вальсе». Причем реакция Батани была скорее негативная. Мило, легко, пусто. Ну, конечно, музыка. Голос.

Не взяв в жизни ни одного урока музыки, она могла подобрать любую мелодию на любом инструменте – фортепиано, гитаре, балалайке. Но больше всего она любила мандолину. Мы с Егоркой были поражены, когда однажды летом 1938 года она взяла гармошку нашего хозяина – мы жили в деревне за станцией Батецкая в Псковской области – и стала на ней играть. Почему-то мне запомнилось, что среди нескольких мелодий, которые она тогда наиграла, была «Помню, я еще молодухой была...»

Вся жизнь Батани была трудной и трудовой. Когда ее мать овдовела, Батаня взяла на себя заботу по уходу и воспитанию младших – сестры и двух братьев. Потом в семью пришел отчим. Батаня не смогла получить хоть какое-то образование. Во всем, начиная с грамоты, она самоучка, и единственный ее учитель – брат Моисей, который всегда не только сам блестяще учился, но старался, насколько возможно, помочь сестрам и контролировать занятия в гимназии младшего брата. Потом ее раннее вдовство, работа, чтобы содержать семью и дать образование трем детям. Постоянная помощь двум младшим сестрам погибшего мужа. Младшая (Эсфирь или Генриетта – я забыла), Этя, закончила гимназию и рано вышла замуж. Муж Эти Михаил Михайлович Константинов был много старше ее. Политкаторжанин-меньшевик, он был в ссылке вместе со Шверником. Позже стал большевиком, но от дел как-то отошел. В Москве они с Этей жили в доме, который назывался «Дом политкаторжан». Он и сейчас стоит на улице Чаплыгина. У старшей – Ревекки – брак оказался неудачным. И после трагической гибели маленькой дочери (кажется, от туберкулезного менингита) она снова вернулась к Батане. Впоследствии она жила с Этей. После ранней смерти Эти воспитывала двух ее девочек.

В доме бабушки выросли трое ее детей, двое сыновей сестры Софьи, две сестры ее покойного мужа. Быть главой такой семьи и еще работать было, наверное, достаточно тяжело и сложно. Но главной, мне кажется, над всем преобладающей чертой характера моей бабушки было чувство долга.

Все, но только в еще более тяжких условиях, повторилось, когда арестовали папу, маму, Матвея и выслали его жену. Бабушка взяла на себя труд и ответственность за судьбу трех вну-

ков. Я была старшая. Моему брату Игорю к этому времени было десять лет, моей двоюродной сестре Наташе – два. Через два года после ареста от мамы стали приходить письма. Потом стало возможным посылать ей посылки. Появилась надежда, что дочь Батаня, быть может, когда-нибудь увидит. На встречу с сыном его приговор – 10 лет без права переписки – надежды не оставлял. Все силы Батани были направлены на то, чтобы сохранить и вырастить нас. Пришла война. Я вместо того, чтобы быть с ней, безрассудно оказалась в армии. Егорку она отправила в эвакуацию со школьным интернатом. Наташа была с ней в блокадном Ленинграде. «Пиши маме, заботься о Игоре» – эта фраза была во всех ее военных письмах ко мне. И еще одна: «Если я сохраню Наташку, то мне можно поставить памятник!» Наташка жива. И уже сама – мама и бабушка.

А памятник бабушке я все еще не поставила. Она умерла в Ленинграде 30 мая 1942 года. Тетя Люба – наша Любана – обмыла ее и зашила тело в красное шелковое покрывало – последняя приличная вещь, оставшаяся после обменов на блокадный хлеб всего, что брали. И прикрепила записку: «Будь проклят тот, кто снимет с тела последнюю одежду». Потом она свезла труп к месту, куда свозили всех умерших с улицы Гоголя. Много лет назад мне впервые в руки попала книга стихов Владимира Корнилова. Там были строчки: «...и казалось, что в наши годы вовсе не было матерей. Были бабушки...»...Были бабушки!

Мамин старший брат Матвей окончил гимназию в Чите в 1916 году. Он не подлежал мобилизации в царскую армию. Позже, когда в Сибири и на Дальнем Востоке были то Семенов, то Колчак, то красные, то еще какие-то, бабушка тщательно охраняла его от любых мобилизаций, пользуясь своими старыми связями или тем, что в прошлом помогала многим политическим ссыльным, которые становились новым начальством. Мне всегда казалось, что моя мама ввязалась в разный большевизм потому, что ускользнула от опеки своей мамы, когда кончала гимназию в Москве и жила у дяди Моси. Оставшихся при ней Матвея и Аню бабушка сумела уберечь от всяческих «романтических» соблазнов. Правда, в старших классах Матвей был связан с еврейской социал-демократической организацией (кажется, это был Бунд). После установления в Чите советской власти работал в Губкоме профсоюзов. Потом он уехал работать в Сретенск. Женился. И только когда бабушка сумела его и его жену вызвать в Ленинград и прописать, Матвей начал учиться в Лесотехнической академии. Работал он инженером, а потом главным инженером на фабрике деревянной детской игрушки. Когда в СССР вернули праздник елки, его фабрика стала одной из первых выпускать елочные игрушки. Среди его друзей с гимназических времен был брат одного из главных энкавэдэшников Ленинграда Майор (или Меир?) Литвин. Может, эта дружба, а может, то, что после ареста папы я и Игорь приехали к бабушке в Ленинград, стали поводом, чтобы НКВД обратил на него свой взор. Его арестовали 29 октября 1937 года. Но еще до этого его выгнали с работы после собрания на фабрике, где обвиняли в том, что он взял к себе детей изменника родины. 31 декабря 1937 года выслали в Среднюю Азию его жену Калю – Калорию Степановну Скурлатову. Одновременно с Матвеем арестовали его друга по Лесотехнической академии Андрея (фамилии его я не помню), который был одинок и не имел родных. Матвей получил 10 лет без права переписки. Какой приговор был у Андрея, мы не знаем. А братья Литвины тоже были арестованы и, насколько мне известно, погибли – один вершил чужие судьбы, другой, как и мой дядя, просто был российский беспартийный интеллигент.

Младшая мамина сестра Анна кончила гимназию в Чите. В начале двадцатых годов приехала учиться в Москву. К этому времени относится попытка бабушки перебраться из Читы в столицу. Тогда бабушка купила в Москве комнату на пятом этаже дома у Арбатских ворот, который когда-то перегораживал бульвар. Теперь там въезд в туннель. В «мирное время» (бабушка говорила так, как будто войны – Первая мировая и гражданская – еще не кончились) там жили студенты, снимая за 7–8 рублей в месяц комнату с пансионом. Она соби-

ралась жить вместе с младшей дочерью, которая ее беспокоила, возможно, больше, чем старшие, так как росла менее здоровым ребенком. Бабушка даже начала работать в библиотеке Московского Кремля. Но пока она занималась устройством, Аня, поступив в Тимирязевскую академию, начала самостоятельную студенческую жизнь и сошлась со своим будущим мужем. Так что возвращение под крылышко мамы ее не устраивало. Вскоре Аню выгнали из Академии «за дворянское происхождение», чего никак не было, хотя и не было «пролетарского». Дядя Мося – тогда ректор Иркутского университета – обратился к ректору Академии. Аню восстановили. Бабушка оставила молодым супругам комнату и уехала назад в Читу. В 1926 году у Ани родилась дочь Зоря. Других детей в семье не было. Окончив Академию, Анна всю жизнь проработала в трех связанных с сельским хозяйством министерствах (вначале наркоматах) – сельского хозяйства, совхозов и заготовок. Никаких катаклизмов и разрушений 37-м годом или войной (кроме тяжелого периода эвакуации в Свердловск) ее семья не перенесла. Формально она была самой благополучной среди семей моих ближайших родственников. Но вряд ли могло существовать внутреннее спокойствие, когда были арестованы брат и сестра Ани, брат ее мужа и муж сестры мужа. Аня умерла в 1975 году, на двенадцать лет раньше мамы.

Я постаралась вспомнить все, что знала о своих родных со стороны маминой мамы. Родных со стороны маминого отца я знала меньше. О трех из них – брате маминого отца Лазаре Рафаиловиче Боннэре, его жене Федосье Евсеевне (урожд. Гольцман) и их дочери Раисе – нашей любимой тете Раиньке – я расскажу вам потом.

А семью своего папы (отчима) Геворка Саркисовича Алиханова я почти не знала. И его родственники не знали, что я неродная его дочь. Он просил маму никогда им этого не говорить.

Из родных моего кровного отца Кочарова (Кочаряна) Левона Саркисовича я знала только его мать, мою бабушку, Герцелию Андреевну Тонунц. Ее сестру Елену, которая нянчила меня в младенчестве, и деда я не помню. До революции они жили в городе Шуша, но бежали в Туркестан из Нагорного Карабаха, когда там во время гражданской войны резали армян. Вот, пожалуй, и конец моей родословной.

Зачем я написала вам это письмо, дорогие мои доченька и сынок? На память. Чтобы самой не забыть. Чтобы вам знать. И потому, что с годами появляется чувство необходимости знать, откуда ты.

* * *

Хорошо, что я не думала, что пишу книгу, а то побоялась бы нарочитости в том, как «сегодня» врывается в прошлое.

Конец ноября 1988 года. Телефонный звонок. Длинный. Междугородный. Ереван. Ничего странного. В эти дни я говорила с Ереваном утром, днем, ночью. В Кировабаде женщины и дети сидели запертые в церкви. У меня на столе лежала телеграмма священника – крик о помощи. Потоки беженцев. Теперь уже в две стороны – из Азербайджана в разрушенную Армению и по всему Союзу, из Армении в Азербайджан. И жертвы. Теперь тоже с двух сторон. Девять месяцев не было случаев насилия со стороны армян, даже после ужаса Сумгаита. Теперь не выдержали. Я звонила в США, во Францию, кому-то здесь, в Москве. Готова была в прямом смысле биться головой об стенку от бессилия что-то сделать, чтобы по справедливости.

Звонит женщина. И говорит, что она моя сестра. Двоюродная. В первый момент я ничего не понимаю. Звонок кажется ошибкой. Это не мне. Мне!.. Журналист Зорий Балаян опубликовал статью об академике Сахарове и там сказано, что я дочь первого секретаря ЦК Армении Геворка Алиханова. Она прочла и пошла к Балаяну. Его не было в городе. Пошла к Сильве Капутикян. Удивительно – сразу вышла на мою единственную армянскую подружку. Сильва дала мой телефон.

Ее зовут Рузана. Она дочь папиной сестры, в семье которой он вырос. Той, с которой всю жизнь после смерти мужа – папиного отца – прожила папина мама. И тут как молния. Вспомнила – тетя Айкануш. Она же приезжала к нам в Москву. У нее были два сына и дочь – девочка постарше меня. Она показывала их фотографии. И ее мужа я помню. Его звали, как папу, и папа называл его дядя Геворк. Он был у нас несколько раз.

После разговора с Рузаной было двойственное ощущение – радость, но и боязнь, что что-то, уже прочно выстроившееся в памяти, привычное, может разрушиться. Потом мы встретились. 1988-й. Декабрь. Двадцать пятое. 17 дней после землетрясения. Мы уже были в Баку, Степанакерте, Ереване. Видели беженцев – армян и азербайджанцев. Встречались с разным начальством, академиками, писателями. И мы только два часа назад прилетели из зоны бедствия.

Мы ходили по серой твердо-сросшейся земле, по которой стихия разметала дома, крыши, бетонные плиты, кирпичи. И детские курточки всех цветов. И ранцы – красные, синие, желтые. Ветер шевелил страницы букварей и тетрадок, трепал на разорванной веревке когда-то выстиранное белье, чудом держащееся на ней. И бродили как призраки из бывшей жизни люди с черными немигающими глазами, чернотой на запавших щеках. Это был мир – «после». Начался снегопад. Казалось, снег заметет не только эту землю, но и этих людей, весь народ. Не армян только, но и азербайджанцев, но и нас, но и всех – близко, далеко, везде. Всю землю.

Вертолет задрожал, как человек, которому холодно, страшно. Но надо... И медленно пошел вверх. Снежинки под ним, живущие каждая сама по себе, стали превращаться в сплошную пелену, сквозь которую куда-то пробивался наш одинокий вертолет. Напротив меня маленький мальчик, неподвижный, как изваяние, круглыми глазами смотрел на протянутую к нему раскрытую ладонь одного из наших спутников. На ней лежало красное яблоко. И над ним чей-то голос: «Арменак, возьми». А я слышала: «Армения, возьми». Армения.

Когда мы вошли в гостиничный номер, меня знобило. Мелко-мелко. Я влезла под горячий душ. И сразу: «Господи, там нет воды». Я натянула теплые носки. И снова: «Там все вещи и еду, бесчисленные ящики – все растаскивают сильные или те, кто поближе к месту, куда их складывают вертолетчики». «А слабые, а те, кто подальше?» Озноб не проходил. Он шел изнутри меня.

И тут пришли Рузана, ее муж и сын. Высокий, красивый. Похож на моего папу – молодого. Все стеснялись. Чувствовалось их почтение к Андрею. Оно мешало нам и, наверно, им. Рузана достала фотографии. Первая была – я и Егорка летом 1928 года. Другая – папа-студент. Родители Рузаны. Ее братья, один из них когда-то жил с нами в Ленинграде. Папина мама – бабушка Шушаник – в старинном армянском костюме. Я смотрела фотографии, которых никогда не видела, смотрела на папино юное лицо, и озноб мой постепенно проходил. Рузана стала рассказывать. Она не помнила моего папу. Он уехал из Тифлиса, когда ей было четыре года. Она пересказывала то, что слышала от бабушки, мамы, отца.

Муж папиной сестры Геворк Gabriелович Казарян был состоятельный человек, и папа смог учиться благодаря его поддержке. Сестра папы была в курсе всех его политических дел, начавшихся еще со школьной скамьи, и помогала ему и его приятелям. Они собирались в доме Казарянов и там же прятали всякую нелегальщину. Однажды, сидя в гостиной на диване, Геворк Gabriелович сказал Айкануш и папе: «Я только об одном вас прошу, чтобы в доме не хранили оружие». Он не подозревал, что оружие уже было запрятано в диван, на котором он сидел. После революции папа помог ему устроиться – рекомендовал на службу в какое-то учреждение.

Последний раз Геворк Gabriелович был в Москве в начале 1937 года, у него начались неприятности на службе. Видимо, он думал, что папа сможет ему помочь, Рузана не говорила, смог ли папа что-то сделать, но отец ее репрессирован не был. Тогда, вернувшись из Москвы, он рассказывал домашним, что «Руфь очень грустная и боится за Геворка», потому что папа

на каком-то заседании сказал о Берии: «За какие такие заслуги его нам на голову посадили», имея, наверное, в виду то, что Берия стал секретарем ЦК Грузии. Вскоре Айкануш перестала получать от папы деньги и ежемесячную справку для бабушки Шушаник, по которой семья покупала продукты и вещи в каком-то тбилисском спецмагазине. Они несколько раз писали на наш адрес в Москву. Ответа не было. Бабушка Шушаник пошла к маме Кобулова, которую знала со времен юности папы. Кобулов (тогда, кажется, председатель НКВД Грузии) был одним из тех молодых людей, которые до революции собирались в доме Казарянов. Мать Кобулова накричала на бабушку, чтобы она никогда не попадалась ей на глаза, и прогнала. Последняя попытка что-нибудь узнать о папе и нашей семье была в начале 1938 года. Геворк Габриелович снова поехал в Москву и пошел в дом, где мы жили – «Люкс». Ему сказали, что ни Алиханова, ни его жены нет. «Уехали!» Он понял, что это значит. Спросил: «А дети?» – «Тоже уехали». – «Куда?» – «Не знаем. Куда-нибудь». Это «куда-нибудь» потрясло старого человека, и он его много раз повторял. В это время Рузана было уже 17 лет, и все розыски нас и рассказ отца она хорошо помнит.

Когда пришло время реабилитации, к бабушке Шушаник пришли какие-то люди (кажется, из райкома) и предложили подать заявление на персональную пенсию, но она их выгнала. Сказала, что они не могут вернуть ей сына. И их пенсии она не хочет, слава Богу, живет не на улице, а в семье дочери. Бабушка Шушаник умерла в Тбилиси в конце пятидесятых годов. Рузана с семьей переехали в Ереван. Она и ее муж – инженеры. Сейчас оба на пенсии. У них двое детей и четверо внуков.

Рассказ Рузаны ничего не разрушил в моих воспоминаниях. Только больно, что мама не дожила до него.

Мы вместе ужинали в ресторане гостиницы. Я сказала, что сегодня годовщина смерти мамы. Дома на улице Чкалова собрались друзья. И Рождество! Кто-то принес и зажег свечи. За огромным ресторанным окном все падал и падал снег. Танки, стоящие на площади – стоят в Баку, стоят в Степанакерте, стоят в Спитаке, – стали казаться большими сугробами. Рузана и Сергею надо было торопиться. Комендантский час!

III

*Родилась ты, и, наверно, где-то
Ярким светом вспыхнула звезда...
...Ты не знала, будет иль не будет
У тебя счастливая судьба...*

Всеволод Багрицкий (1922–1942)

Родилась я 15 февраля 1923 года в старом городе Мерве, в доме бабушки и дедушки на берегу реки Мургаб. Была весна, и в их саду, уступом спускавшемся к реке, розовым цветом отражались в воде персиковые и абрикосовые деревья. В том году было очень пышное цветение, и бабушка Герцелия Андреевна сказала, что это счастливая примета. А дедушка послал в далекую Читу другой бабушке – Батане – телеграмму: «Родилась девочка тчк такая красавица тчк». Все миновалось, а телеграмма – желтый, рассыпающийся от времени бланк – сохранилась! Теперь город, где я родилась, называется Мары, Туркмения.

Я не помню город Мерв. И жизнь в Москве в 1923–1924 годах. Для меня время началось в Чите.

Мы жили в Чите большой семьей в просторном доме Моисея Леонтьевича Клеймана – мужа бабушкиной сестры Софьи. Моисей Леонтьевич, его родственница Нюточка, моя бабушка, мама, папа, мамин брат Матвей и я были постоянными жителями. Но всегда были гости – родственники и друзья. В доме была кухарка, и у меня – няня. Главой семьи я всегда ощущала бабушку. Я долго была уверена, что это ее дом, а не Моисея Леонтьевича. Как все в семье, я звала его по имени-отчеству, хотя он был мне вроде как дедушка. Я чувствовала его отношение и знала, что в любом конфликте с миром взрослых он всегда принимает мою сторону.

Когда он собирался уезжать из России – мы тогда уже жили в Ленинграде – и все разговоры взрослых о хлопотах, связанных с отъездом, как-то отзывались во мне, – я была очень недовольна тем, что он получил разрешение. Я вообще была против его отъезда. Его первая внучка родилась в Париже. Может, его привязанность ко мне отразилась в том, что ее назвали Люси.

Я хорошо помню двор и дом – бревенчатый, темный, с большими окнами, очень длинный с улицы, а со двора половина его была скрыта высоким забором. Дом стоял на пересечении двух улиц, и на углу его была булочная. С улицы была парадная дверь, но ходили мы через двор. С крыльца попадали в сени, за которыми была большая кухня. При ней комната, которую называли «темная», и там жили кухарка и моя няня Тоня. От кухни шел коридор, в который выходили двери комнат. Четыре комнаты окнами на улицы – мамы и папы, Моти, Нюточки и очень большая Моисея Леонтьевича, и три окнами во двор – Батанина, где жила и я, «проходная» и столовая. В «проходной» почти всегда жили гости. В самом конце коридора была «прихожая», в которую никто не приходил, а стояли сундуки и висели пальто. В том конце коридора, где кухня, была большая белая дверь. Она была забита двумя шершавыми досками и завешена толстой зеленой портьерой. Позже, уже живя в Ленинграде, я узнала, что за этой дверью была вторая половина дома, которую «отобрали».

В столовой мой высокий стульчик стоял рядом с местом Батани, а напротив всегда сидел Моисей Леонтьевич. Над столом висел абажур с золотистой бахромой из бисера. От читинского дома сохранился сундук, да у моей дочери Тани бусы, которые мы сами нанизали из «абажурного» бисера.

Самое яркое воспоминание и, может, самое первое – абажур закачался. Моисей Леонтьевич схватил меня на руки, и все выбежали на улицу. Врезалось в память слово «землетрясение», запах шубы Моисея Леонтьевича, которую кто-то на нас накинуд, и темное звездное небо. Мне всегда кажется, что я тогда впервые увидела звезды.

Существует легенда, что в Чите я часто убегала из дома и меня находили в городе по пути к брату Батани – дяде Сане и его жене Роне или уже у них. Их дом был самым красивым местом в моем раннем детстве. И там была музыка. Само представление о том, что она существует, и все эмоции, с ней связанные, пришли от дяди Сани. Я не помню, был ли инструмент в доме, где мы жили. Но пианино в большой комнате дяди Сани и тети Рони помню не только по его коричнево-шоколадному блеску, но на ощупь и даже на вкус, так как тайком любила его лизать. Оно стояло в простенке между двумя высокими (может, это только тогда?) окнами, на которых шевелились кружевные шторы (похоже, всегда было лето), а по бокам от него стояли две большие китайские вазы. На них были изображены женщины под зонтиками, с высокими прическами и в кимоно, подвязанных широкими лентами с большими бантами. И тетя Роня мне казалась (не только тогда, но и всегда) одной из этих женщин. И не только потому, что у нее тоже было такое кимоно. Я уже видела много женщин в кимоно и в синих, подвязанных лентами курточках, на маленьких деревянных платформах-туфельках, так как в городе было много китайцев. Но у тети Рони все было красивое, а на улице – нет. И была музыка. Я не называла этим словом то, что слышала во дворе или еще где-нибудь, или песни моей няни, а только то, что играл дядя Саня. И еще я хорошо помню, что, когда звучала музыка, мне не хотелось видеть людей. И я тогда уходила за черную шелковую ширму, стоявшую в правом углу комнаты, и разглядывала диковинные серые деревья и куда-то летящих белых птиц, вышитых на ней. Эти птицы и музыка были неразрывно чем-то связаны. Теперь я думаю, что дом тети Рони и дяди Сани был для меня и первым концертным залом, и первым музеем.

Не с тех ли пор я полюбила слушать музыку, когда остаюсь одна? В школьные годы это было радио – черная тарелка или наушники. Потом «долгоиграющие» пластинки. Кажется, это слово уже не существует? Позже – радиоприемник. Я и в концерты любила ходить одна. И только с Андреем пришло желание слушать музыку вдвоем.

Еще я убегала в бильярдную гостиницы, где работала Батаня. Там часто бывали папа, Мотя и папин друг Лева Алин. Папа или Мотя брали меня на руки, и я с высоты видела весь бильярд. Когда приходила очередь взять кий, они передавали меня с рук на руки. Но однажды папа поставил меня на стол. Я почему-то испугалась этого зеленого пространства. И обиделась на папу. Это была первая обида, которую я помню.

Летом я с Батаней ездила на забайкальский курорт Дарасун, создателем и главным врачом которого был муж Батаниной сестры Бети – Григорий Михайлович Берлинский. Мы ехали на лошадях. Что это было – телега или какая-то коляска – не помню. Было темно. Хлестал дождь. С двух сторон просеки, по которой шла колея, раскачивались деревья. И было очень страшно. Наверно, я до этого никогда в непогоду не была вне дома. Поэтому эта ночь и эта дорога стали потрясением и врезались в память на всю жизнь. А вот сам Дарасун, про красоту которого ходят легенды, я не запомнила. Там я влюбилась в куклу. Хозяйка куклы – дочь тети Бети и дяди Гриши Нюся – не разрешала мне к ней прикоснуться. И только когда она куда-нибудь уходила, тетя Бетя давала мне поддержать и даже понянчить мою любовь. Конечно, это был жест «доброй воли», но мою волю сковывало то, что мне казалось – тетя Бетя тоже боится Нюси. Очень долго мое отношение к тете Бете находилось под гнетом этого почти младенческого ощущения и изменилось, наверное, только в последнее десятилетие ее жизни.

К дяде Грише я испытывала доверие безоговорочно и всегда. Был он хирургом, всю войну – фронтовой хирург, а в Москве работал в детской травматологической больнице. И так как мир, как известно, тесен, то, когда Андрей пришел в наш дом, оказалось, что дядя Гриша лечил его старшую дочь.

* * *

В начале 1926 года читинский дом начал распадаться. Мотя уехал работать куда-то в Приморье. Мама и папа уехали в Ленинград. Теперь я знаю, что папа и раньше работал в Ленинграде, в 1922–24 годах. В Читу он попал вроде как в ссылку после каких-то крупных расхождений и дискуссий с Зиновьевым. Так что для него это было желанное возвращение, ставшее возможным в связи с тем, что после XIV съезда секретарем Ленинградского губкома стал Киров. Вскоре после их отъезда стала собираться в Ленинград Батаня со мной. Считалось, что Батаня едет, чтобы навестить в Москве свою младшую дочь Аню и отвезти меня, а потом вернется жить в Читу. Мне было странно слушать разговоры взрослых об этом. В моей жизни Батаня – не мама – была центром и вершиной, занимала главное место, и представить себе, что я буду жить без нее, было невозможно. Точно так же позже, когда мне скажут, что родилась Зорька и у Батани теперь есть еще одна внучка, у меня возникнет ощущение некоей неправильности – у моей бабушки не может быть других внуков-внучек – только я. Похоже, я росла как типичный «единственный» ребенок.

Ехали из Читы мы не вдвоем с Батаней. С нами был дядя Саня, и его присутствие создавало для меня чувство комфорта и покоя в поездной жизни. А до Иркутска с нами еще ехал другой брат Батани – дядя Мося, и с этого времени я его помню. Он уговорил Батаню разрешить мне взять в поезд куклу и подарил игрушечный поезд – паровоз и вагончики, которые как-то замысловато к нему прицеплялись. Я не знаю, сколько дней длилась в те годы дорога от Читы до Москвы, кажется, 11 или 12 дней, но у меня в памяти – это долгий отрезок моей жизни, с особым, очень понравившимся мне укладом, какими-то особыми формами игры то в купе, то в коридоре вагона, особой едой – первые ощущения того, что еда может быть вкусной, у меня связаны именно с этой дорогой. Я запомнила прогулки с дядей Саней по перронам во время остановок, пахнувший дымом пристанционный воздух, и как меня, закутанную, выносили в Верхнеудинске и Иркутске (оба города мы проезжали ночью) на встречу с родными, и множество подарков и вкусностей, которые они нам приносили. Мне кажется, что моя всю жизнь длящаяся любовь к поезду – сесть и поехать куда-то далеко-далеко – родилась именно тогда. А вот Москву я не помню совсем, как будто этого приезда не было, хотя мы жили там с Батаней две или три недели – я даже не помню, где мы тогда останавливались.

В Ленинграде мама и папа жили в гостинице «Астория», но тогда ее часто называли «Ленинградский дом Советов». Только никаких Советов там не было, а жили многие партийные и советские работники Ленинграда.

Я сразу полюбила этот дом, он казался мне удивительно красивым – высокие окна, просторные вестибюли, вращающаяся дверь подъезда, серый гранит облицовки и лифт с зеркалами, в которых можно видеть себя со всех сторон. Полюбила и сразу забыла деревянное крылечко черного хода дома Моисея Леонтьевича – в Чите оно было моим любимым местом, потому что с него было видно, как за забором нашего дома китайцы собирают лотки с игрушками и сладостями, чтобы потом ходить с ними по улицам и предлагать прохожим свой замечательный товар. А здесь была не улица, а площадь. Такой большой я никогда не видела.

Мое знакомство с городом началось с нее, и если судить по личному восприятию, а не так, как принято, то до сих пор именно эту Исаакиевскую площадь я ощущаю как центр Ленинграда. Но и зрительно, если подняться на самый верх Исаакиевского собора, на круглый балкончик уже над большим куполом (раньше это делали сотни экскурсантов, и я в детстве, в школьные годы, в юности и молодости бесчисленно проделывала это сама, а в первый раз с папой еще трехлетней), то как бы зависаешь в непередаваемой высоте (кто из нас тогда летал на самолете – единицы, а я до войны – нет) в самом центре радиусами расходящегося города.

Мама и папа жили в комнате на третьем этаже. Окнами их комната выходила на сквер и Исаакиевский собор. Я с ходу полюбила это грандиозное сооружение, и моя ленинградская жизнь, кроме самых последних лет, когда я жила на Фонтанке, всегда неизменно проходила близко от него. Иногда я думаю, что здание может как-то влиять на характер и даже судьбу. В окно я всегда видела его. В школе моя парта стояла у окна и преподаватель часто говорил: «Боннэр, не смотрите на Исаакий».

Комната, где мы жили с Батаней, выходила окнами во двор. Это был странный двор без зелени, почти весь застроенный небольшими зданиями, там всегда что-то грузили-выгружали, и сколько снаружи здания я ни высматривала – нигде не видела входа в этот двор и даже сегодня не знаю, где он.

Мне кажется, что большинство друзей моих родителей в то время жили в «Астории», и я свободно гуляла по этажам и просторным коридорам гостиницы, сама заходя к ним. Сколько помню себя, я всегда считала их и своими друзьями.

В «Астории» был детский сад, в основном туда ходили дети, живущие в ней, и меня тоже определили туда.

У меня такое ощущение, что до «Астории» я практически с детьми не общалась и помню вокруг себя только взрослых. Первые общения со сверстниками запомнились тем, что я влюбилась в какого-то мальчика. Когда однажды воспитательница сказала, что он последний день с нами и завтра куда-то уезжает, я запряталась в комнату, где мы умывались и где висели наши полотенца (у каждого под своей картинкой), зарылась в них и плакала так, что вся была в слезах, с мокрым носом, опухшая. Ни воспитательнице, ни Батане, которая пришла за мной, объяснить ничего не хотела, и они решили, что меня кто-то обидел. Горе свое я помню по сей день, но вот имя героя забыла, видимо, скоро, так как не помню времени, когда оно было у меня в памяти.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.